

КАК ПИШУТ ИСТОРИЮ?

Андре Бюргьер

ОТ СЕРИЙНОЙ К КОМПЛЕКСНОЙ ИСТОРИИ: ГЕНЕЗИС ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ*

Распространение комплексного подхода как в естественных и точных, так и - с некоторым опозданием - в общественных науках, явилось самым значительным эпистемологическим поворотом последних двух десятилетий. Успех этого подхода был обусловлен потребностью вырваться из тисков картезианско-ньютоновской парадигмы, навязывавшей всем наукам принципы и методы, заимствованные из физики (т.е. разделение поля исследований на простые элементы и выстраивание объяснения в виде единой цепи причинно-следственной связи). Примечательно, что с критикой данной парадигмы первыми выступили сами физики. Это произошло на рубеже XIX и XX вв. в связи с развитием физики элементарных частиц. Сознательно или неосознанно, но и общественные науки, которые в тот момент задались вопросом об основах своего собственного научного знания, оказались затронутыми эпистемологическим потрясением, вызванным появлением квантовой физики и теории относительности.

Для основателей "Анналов" с их концепцией научной истории это влияние было совершенно осознанным, подтверждением чему служат слова Люсьена Февра из его лекции в Эколь Нормаль в 1941 г. "Несомненно, — сказал он, — что отправной точкой всех новых концепций была великая драма теории относительности, потрясшая все здание науки, каким оно представлялось людям моего поколения в годы их юности". Он утверждал даже, что квантовая теория заставляет переосмыслить понятие причинности, заимствованное общественными науками из естественных. "Умножая разрушения в наших научных представлениях, уже вызванные теорией относительности, — добавил он, — квантовая теория поставила под вопрос извечную и традиционную идею причинности и тем самым опрокинула понятие детерминизма, это не-

AndréBurguière. De l'histoire sérielle à l'histoire complexe: genèse de l'anthropologie historique.

оспоримое основание всякой позитивной науки, этот несокрушимый столп старой классической истории"¹.

Деятельность основателей школы "Анналов", их стремление отойти от галлоцентристского и европоцентристского видения истории, учитывать многообразие культур и, как следствие, различие путей исторического развития могут рассматриваться в качестве научного ответа на кризис идеи прогресса. Совершившаяся интеллектуальная революция привела к изменению статуса истории в ряду научных дисциплин. Историк перестал быть ученым-пророком, который, воссоздавая тянущуюся из прошлого линию развития, позволял предвидеть будущее, и стал, подобно специалистам в области других общественных наук, объяснять логику человеческого поведения. Из представления о многообразии культур и путей развития следовало, что все культурные ценности относительны и понять их можно только в историческом контексте, а для их изучения необходимо использовать междисциплинарный подход. В то же время отказ "Анналов" от метода историков-позитивистов, черпавших свои знания из критики документов, но при этом наивно предполагавших объективный характер отношений между самим прошлым и познанием прошлого, заставил историков обратиться к понятию комплексности.

Рассматривать изменение представлений о научном статусе истории и общественных наук на примере одной Франции, а в самой Франции сводить попытки эпистемологического обновления только к направлению "Анналов" означало бы поддаться духу местничества, в чем подчас - и небезосновательно - упрекают историков, считающих себе наследниками Марка Блока и Люсьена Февра. Если я, тем не менее, считаю полезным обратиться к опыту "Анналов", то лишь потому, что он, как мне кажется, иллюстрирует во всех его противоречиях тот путь развития общественных наук, который привел их к понятию комплексности. Именно на противоречиях я и хотел бы сейчас остановиться. В этой связи я считаю нужным обратиться к понятию общественных изменений и рассмотреть, какое место оно занимало в исторической мысли на протяжении последних пятидесяти лет. Марк Блок говорил, что история - это наука не о времени, а об изменениях. Время как измерение и как проблема присутствует в большинстве гуманитарных и общественных научных дисциплин, а также естественных и так называемых точных наук. Проблема изменения также ставится всеми общественными науками, но они в принципе могут от него абстрагироваться и сосредоточиться лишь на константах и закономерностях. А история без учета изменений вообще лишена смысла.

Осмысливать же изменение - значит воспринимать объект наблюдений как процесс, как нестабильную, т.е. сложную, комплексную реальность, которая не поддается одностороннему - биологическому, экономическому, идеологическому, культурному и т.д. - объ-

яснению. Идея соотнесения двух уровней реальности с целью выявления взаимодействия между ними не слишком нова. Немецкие историки конца XIX в. называли это *Zusammenhang*. Это понятие распространилось во Франции настолько, что для позитивистов вроде Сеньобоса стало поистине магической формулой. Она состояла в том, что следовало сначала установить некую последовательность событий (в первую очередь, политических), а затем объяснить их, соотнеся для этого с другой чередой фактов. Но обычно такой синтез откладывался до греческих календ, пока не будет установлена вся совокупность фактов. Понятие же процесса возникает в том случае, когда идея взаимодействия присутствует постоянно, заставляя обратиться к категории взаимной обусловленности, или точнее, осознать, что для объяснения явлений всегда следует преодолеть и избранный уровень наблюдения, и модель, предложенную в качестве гипотезы. Именно это я и хотел бы показать на примере понятия модернизации, являвшегося в 1960-е годы ключевым в трудах по социально-экономической истории учеников Эрнеста Лабрусса, а также на примере изучения рано возникшего во Франции регулирования рождаемости: дебаты по данному вопросу развернулись среди историков в тот момент, когда стали заметны первые успехи исторической демографии.

Влияние Эрнеста Лабрусса как исследователя и педагога - наряду с, может быть, более продолжительным, но в тот момент в меньшей степени отвечавшим ожиданиям молодых историков влиянием Броделя - было преобладающим в первые двадцать послевоенных лет, которые можно назвать вторым периодом "Анналов". Как и основатели журнала, Лабрусс отдавал предпочтение экономической и социальной истории. Будучи прямым наследником Франсуа Симиана, обратившегося к изучению экономических колебаний путем воссоздания движения цен и заработной платы² (хотя сам он больше ссылаясь на экономиста Афтальона³, чем на социолога Симиана) Эрнест Лабрусс систематически занимался статистическим анализом, в котором Марк Блок и Люсьен Февр⁴ видели надежный способ выявить глубинные структуры и временные ритмы массовых движений и, таким образом, не полагаться на простые субъективные свидетельства. Но соединив то, что он сам называл своим *жоресовским марксизмом*, с экономизмом социолога Симиана, у которого социальный "актер" (*acteur social*) был низведен на роль "актера" экономического, реагирующего на объективные механизмы экономической системы в зависимости от своего социального положения и представлений о своих экономических интересах, Лабрусс вернул в историческое объяснение экономический детерминизм, от которого основатели "Анналов" решительно отмежевались.

Этот уклон в детерминизм и связанное с ним редукционистское видение истории соблазнили целое поколение молодых историков, являвшихся в большинстве своем сторонниками или активистами

Коммунистической партии, с которой было связано запоздалое и отмеченное тем большим догматизмом появление марксизма в интеллектуальной жизни Франции. Их привлекала школа "Анналов" в том упрощенном варианте, который предлагал Лабрусс. Свойственная им прямолинейность и, в особенности, обращение к аскетичной серийной истории принесли свои результаты. Работы этих историков неожиданно обнаружили такие особенности в развитии и поставили такие проблемы, которые невозможно было понять и разрешить в рамках модели, предложенной Лабруссом. Большинство учеников Эрнеста Лабрусса вынуждены были оставить путь, намеченный мэтром, и выйти за пределы его социально-экономической парадигмы. Открыв для себя автономию культурных процессов и их определяющее влияние на форму изменений, они предложили целый ряд тем и приемов анализа, характерных для того, что сейчас принято называть исторической антропологией.

Рост, развитие, модернизация?

Многомерный процесс

"Мой марксизм, - говорил Эрнест Лабрусс, - это социально-экономическая история. Он состоит в изучении конкретных репрезентативных реалий... в бесконечной цепи Истории; естественные границы социально-экономической истории простираются от производственной деятельности человека до явлений из сферы коллективных эмоций и ментальноеTM"⁵. Здесь видна трилогия послевоенных "Анналов": "Экономика, общество, цивилизации", но только представленная в виде цепочки причинно-следственных связей, в начало которой помещены экономические структуры (производственная деятельность человека), а в конец - ментальность. Эта детерминистская, или точнее, "экономистская" концепция исторического процесса не могла не прийти по вкусу новому поколению историков 1950-х годов, которых к марксизму привело членство в Коммунистической партии или симпатии к ней, а к коммунизму - участие в Сопротивлении и идейная атмосфера периода освобождения от нацистской оккупации. Когда Луи Альтюссер в письме к Джону Льюису⁶ изображает сталинизм экономизирующим искажением марксизма, такая критика одного из самых кровавых политических режимов XX в. выглядит до странности беззубой. Но она не лишена справедливости, если иметь в виду идеологический догматизм, распространившийся в международном коммунистическом движении под влиянием сталинизма и выражавшийся в том, что производительным силам отводилась большая роль, чем общественным движениям. Это запоздалое усвоение марксизма, превратившегося в застывшую догму, происходило во Франции в условиях послевоенной реконструкции с присущими тому времени экономическим волюнтаризмом и

мистикой планирования, благодаря чему в общественных науках на первый план выдвинулись понятия роста, развития и модернизации.

В среде историков завязался любопытный диалог между идеями Маркса, который воспринимался больше как теоретик капиталистической трансформации, чем как пророк мировой революции, и идеями У. Росту о стадиях роста и его теорией *take-off* ("взлета")<: в ходе этого диалога не только возникало противостояние (как на Международном конгрессе историков в Стокгольме), но и осуществлялся синтез этих идей, несмотря на то что в оригинале книга Росту называлась "Стадии экономического роста. Некоммунистический манифест". Историков нового поколения, воспитанных на идеях коммунизма, могли привлечь в модели, предложенной антикоммунистическим теоретиком промышленной революции, два элемента: 1) связь между количественными показателями (интенсификацией ритмов роста, приводящей к настоящему "взлету" производства) и качественным изменением: становлением индустриальной системы; 2) учет *предварительных условий* экономического "взлета", как экономического, так и культурного порядка (рост грамотности, демографическое поведение), которые могут способствовать началу модернизации.

От Маркса к Росту

"Экономический рост в деревнях Нижнего Прованса" - так называлась диссертация Рене Береля⁸, характерная для своего времени и для направления исследований, начатого Эрнестом Лабруссом, хотя сам мэтр и подверг эту диссертацию критике, так как описанная ее автором эволюция не соответствовала схеме, предложенной Лабруссом в его "Очерке движения цен и доходов во Франции в XVIII в." Описанный Р. Берелем рост соединял в себе демографический подъем и увеличение произведенного богатства при сохранении преимущественно аграрной экономики и общества с традиционной иерархией. Этот рост был обеспечен, в первую очередь, прекращением в исследуемом регионе периодических вспышек высокой смертности, вызванных, главным образом, эпидемиями. Страшная марсельская чума 1721 г. с порожденной ею в этом древнем приморском городе обстановкой гражданской войны, описанной Рене Берелем, положила конец долгой истории эпидемий чумы во Франции и, может быть, во всей Западной Европе. Ослабление принудительного регулятора, сокращавшего уровень народонаселения до уровня имеющихся продовольственных ресурсов, не привело вопреки учению Мальтуса к опасному и чреватому голодовками нарушению равновесия. Прирост населения как будто давал импульс оживлению экономической жизни и увеличению валового дохода.

Стало ли сельское хозяйство более производительным? Для подобного утверждения нет никаких оснований. Скорее всего, про-

гресс наблюдался благодаря росту обменных операций и введению свободы торговли, в частности зерном. Э. Леруа Ладюри, сопоставляя движение цен, производства и численности населения, не наблюдал в Лангедоке на протяжении длительного времени никакого роста производительности, - впрочем данное его исследование доведено только до начала XVIII в. Однако в коллективной работе "Колебания доходов от десятины"⁹ (на сей раз в национальном масштабе), которой Леруа Ладюри руководил совместно с Жозефом Гуа, он отмечал признаки роста на протяжении XVIII в. Был ли обнаруженный этими историками рост реальным, т.е. основанным на более высокой производительности труда в сельском хозяйстве, или же он был лишь видимостью, возникшей вследствие ошибки в их подсчетах, как предполагал Мишель Морино в работе "Обманчивые признаки экономического подъема"¹⁰? Как бы то ни было, он не вписывался в лабруссовскую модель Старого порядка, обнаруживающего свои экономические и социальные противоречия в ходе циклических кризисов и в конечном счете сметенного гиперкризисом, ставшим результатом одновременного воздействия циклических и интерциклических колебаний.

Успех этой концепции у историков связан все же не столько с простой заменой оптимистического продуктивизма У. Ростоу критическим и слегка марксистствующим продуктивизмом Лабрусса, сколько с развитием серийной и количественной истории, путь которому проложили Франсуа Симиан и особенно Эрнест Лабрусс. Сопоставление движения цен и сельскохозяйственного производства (определяемого, например, исходя из размера десятины), а также изменения численности населения на протяжении длительного времени выявляет синхронности, параллели и совпадения периодов роста, которые нельзя объяснить только их взаимовлиянием или разрешением кризисов внутри экономики Старого порядка. Эти движения отражают инволюционный процесс, при котором интенсификация тенденций роста возвещает конец Старого порядка. Качественное изменение, каковым является переход от прежней экономической системы к индустриальной, обнаруживает себя в ускорении количественных изменений, во "взлете", говоря словами Ростоу, т.е. в расширенном росте производства и необратимом приросте населения. Эта интенсификация влечет за собой изменения в культуре, с трудом поддающиеся подсчетам; они же, в свою очередь, ведут к дальнейшим переменам.

Демографические колебания сглаживаются, в частности, благодаря исчезновению периодических всплесков смертности (вызванных голодом и эпидемиями) и снижению смертности среди взрослых, а также структурным изменениям, очень мало или вообще никак не обусловленным экономически: детская смертность начинает сокращаться и одновременно появляется ограничение рождаемости. Семья теперь проявляла большую заботу о питании и гигиене новорожденных и желала регулировать численность своего потомства;

этому новому отношению к жизни могло способствовать ощущение благополучия или большей уверенности, возникавшее из-за прекращения резких всплесков смертности. Лишь с того момента, когда выживание новорожденного стало выглядеть не чудом, а нормальным явлением, можно было стремиться иметь меньше детей, чтобы уделять больше внимания воспитанию каждого из них. Но подобного рода трансформации порождаются, главным образом, переменами в состоянии умов, а не в положении вещей. Демографы называют сокращение детской смертности в сочетании с ограничением рождаемости демографическим переходом: взятые вместе они способствуют достижению современного, т.е. контролируемого демографического режима. Совпадение этих двух явлений отражает такое состояние ментальности, которое можно определить как постепенную замену фаталистической беспомощности перед лицом биологического рока желанием и возможностью предвидеть и программировать развитие своей семейной ячейки.

Способность строить планы на будущее, оценивать свои шансы влиять на ход событий, который представляется уже как естественный, а не провиденциальный, - такое состояние умов, требующее овладения новыми мыслительными схемами, является результатом сложного процесса аккультурации, ход которого историку не удастся полностью восстановить на основании имеющихся источников. Но серийные показатели культурной трансформации, такие, как уровень грамотности населения или масса имеющих в обращении печатных изданий, могут свидетельствовать о начале и развитии этого процесса. Данные показатели обозначают то, что У. Ростоу рассматривал в качестве предварительных культурных условий *take-off*, т.е. в качестве такого уровня рациональности, который позволяет одновременно осознавать меняющиеся задачи и управлять демографическими процессами. Под влиянием практики серийного анализа и открываемой им возможности зримо представить процесс развития истории, не обязательно принимая теорию роста Ростоу в целом, стали учитывать роль неэкономических предпосылок в трансформации экономической системы. Симптомы параллельной эволюции, совпадения и наложения, наблюдавшиеся, например, при сопоставлении кривых производства, цен, численности населения и уровня грамотности, убеждали, что тот процесс, который тогда называли модернизацией, являлся результатом взаимодействия определенных особенностей состояния производства и ментальности. Однако возможно, что к этому выводу историков склоняло также стремление уйти от схематичного марксизма времен их молодости, провозглашавшего примат экономики.

У любознательных историков желание распутать сложный исторический процесс, исследовать самые неожиданные его аспекты брало верх над потребностью проверить в рамках избранной монографической темы применимость канонической модели экономиче-

ского "взлета", предложенной американским теоретиком. Внеэкономическим предварительным условиям подъема производства отводилось место уже не на периферии процесса изменений - зачастую они становились сердцевинной всего анализа, как будто в них было воплощено не только то, что предшествовало началу модернизации, или, по словам К. Поланьи, великой трансформации, но и сама модернизация как таковая в контексте изучаемого региона - иначе говоря, одна из форм, наряду с другими, тех многообразных ускоренных изменений, которые принято называть модернизацией и которые не сводимы ни к их экономическим результатам, ни к какой-либо одной модели развития.

Новый Старый порядок

Достоинством монографического исследования стало считаться уже не подтверждение правильности модели, а выявление отклонений от нее, вариантов исторических путей и их разнообразия. Пьер Губер в своей диссертации о Бовези в ХУП-ХУШ вв.¹¹ тогда впервые обратился к сериям демографических данных, что позволило ему выявить регулирующую роль периодических всплесков смертности, а также, в особенности, матримонимальной практики (позднего замужества), обеспечивавших стабильность социально-экономической системы и отсутствие роста вплоть до середины XVIII в. Неустойчивое равновесие этой модели обеспечивалось не столько экономическим балансом или формами политического и социального регулирования, сколько биологической саморегуляцией, проявлявшейся в семейном поведении. Такое видение не противоречило концепциям Эрнеста Лабрусса, так как Пьер Губер признавал, что циклическое развитие и периодические кризисы свойственны нормальному функционированию Старого порядка как социально-экономической модели. Но то значение, которое он придавал биологическим механизмам и их регулирующему воздействию через практику семейной жизни, позволяло предполагать возможность выхода из Старого порядка в результате не кризиса системы, а демографического подъема, ведущего к устойчивому росту. Революции в исследовании Пьера Губера, предусмотрительно оканчивающемся гораздо более ранним временем, не только ничто не предвещает, но о ней там и речи не идет. Цель его исследования - объяснить не неизбежность революции, а столь длительную протяженность Старого порядка.

Общую модель этой длительной протяженности применительно к Лангедоку выстроил Э. Леруа Ладюри¹² с помощью учения Мальтуса, который, с его точки зрения, был превосходным пророком прошлого - в том смысле, что жесткие ограничения, обнаруженные английским демографом в промышленной Англии его времени, в действительности существовали в доиндустриальной Европе, а как раз индустриализация позволила их преодолеть. Общество Старого порядка бы-

ло зажато в мальтузианские ножницы: население, естественно, росло намного быстрее, чем имеющиеся ресурсы, в силу того, что производство, оставаясь преимущественно сельскохозяйственным, не претерпевало изменений, а фонд пахотных земель оказался довольно быстро исчерпанным. Избежать ужасов "репрессивных ограничений" (голода, эпидемий и социальных волнений) можно было лишь благодаря постепенному внедрению "превентивных ограничений", за которые ратовал Мальтус и которые на самом деле применялись на протяжении трехсот лет: имеется в виду саморегулирование демографического роста путем позднего вступления в брак. Успешно стабилизовавшее смертность и препятствовавшее трагическим демографическим провалам, имевшим место в средние века, "добродетельное" ограничение рождаемости путем продления безбрачия сопровождалось в обстановке религиозной реформы XVI-XVII вв. усилением аскетизма в отношениях между полами. Широко распространившееся сексуальное вытеснение порождало истерическое поведение, как, например, во время войны *камизаров*, исследованной Э. Леруа Ладюри в свете ранних трудов З. Фрейда. Подобные психологические кризисы свидетельствуют не о кризисе общества, а о разрыве между неподвижными структурами производства, с одной стороны, и новыми государственными структурами и типами религиозной ментальностиTM, с другой.

Э. Леруа Ладюри отмечал происходивший в Лангедоке XVI-XV[[вв. рост государственного аппарата в результате увеличения фискальных потребностей королевской власти, продававшей должности и усиливавшей аппарат принуждения, чтобы обеспечить поступление налогов и противостоять сопротивлению и восстаниям в провинциях. Историки относят к этому периоду то, что они называют "строительством государства нового времени". Если и уместно говорить о модернизации, то она проявлялась именно в автономизации государственного аппарата по отношению к общественному организму и в стремлении государства самоорганизоваться и стать более эффективным; государство способствовало тому, что эта новая забота о рационализации распространялась на все общество. Наряду с усилением государства Э. Леруа Ладюри отмечает в XVI в. культурный подъем, вызванный революционным появлением книгопечатания, усилившим религиозные искания и конфессиональные разногласия.

Таким образом, для раннего нового времени (XVI-XVII вв.) были характерны укрепление государства и расширение культурного горизонта, не сопровождавшиеся реальным экономическим развитием: не было ни роста производства в преимущественно аграрной экономике, ни заметных изменений в уровне и распределении доходов. Это несовпадение ритмов развития порождало фрустрации, которые приводили к конфликтам между двумя формами роста (усилением государства и возросшей ментальной открытостью) и выражались в разногласиях и восстаниях на религиозной почве.

Понятие идеологической укорененности и трансформация деревни

Тяга к изучению преимущественно неэкономических форм развития не ограничивалась у учеников Эрнеста Лабрусса Старым порядком. Она зачастую преодолевала хронологическую грань революции и проявлялась в монографиях по истории индустриализации в отдельных департаментах; Лабрусс руководил такими диссертациями, поставив перед собой цель исследовать социально-экономическую историю современной Франции на уровне департаментов. Наиболее выдающиеся из этих докторских диссертаций отходили от классической модели модернизации (расцвет капитализма, урбанизация, индустриализация) в сторону изучения исторических процессов, не вписывающихся в рамки объяснения в духе социально-экономического детерминизма. Так, Поль Буа использовал понятие *идеологической укорененности* (*survivance idéologique*)¹⁴, чтобы объяснить разительный контраст, наблюдавшийся в XIX в. в департаменте Сарта между юго-востоком, где крестьяне, в основном мелкие собственники, голосовали в большинстве своем за левых (т.е. *синих*, если использовать местную терминологию), редко ходили в церковь и имели мало детей, и западом департамента, где в деревнях преобладали более крупные хозяйства, сдававшиеся в аренду, крестьяне оставались верующими католиками, имели большие семьи и голосовали за правых (*белых*).

Это противостояние не являлось отражением естественного географического контраста или наследием Старого порядка, как полагал Андре Зигфрид, приписывавший политический консерватизм жителей западной части департамента влиянию, которое оказывали на местных крестьян дворянство и церковь до революции. Поль Буа, напротив, показал, что дворянство, не жившее в своих владениях, не играло здесь сколько-нибудь заметной роли и что крестьяне не проявляли особой привязанности к духовенству. Выбор двумя регионами противоположных идеологических позиций совершился в ходе политического противостояния во время революции, в частности в такой переломный момент, как введение гражданского устройства духовенства, когда каждому пришлось сделать выбор между верностью церкви и приверженностью республике. Жители запада стали защищать своих непосвягнувших священников и поддерживать шуанов. Жители юго-востока подчинились республике и приняли присягнувших священников. Затем они сохранили верность позиции, которую заняли, переживая опыт революции, и превратили то, что было одномоментным выбором, в идеологическую структуру длительной протяженности, определяющую их электоральные предпочтения и отношение к церкви. А благодаря этой идеологической структуре оформился *габитус*, преобразовавший в конечном счете аграрные и демографические структуры.

Конечно, было бы весьма наивным полагать, что все вышло, как по волшебству, из революционных событий. В социально-экономических структурах двух частей провинции Мэн и до революции наличествовали элементы, предрасполагавшие к тому или иному выбору. На западе отсутствовала сильная зависимость крестьян от дворянства и духовенства, но при этом арендаторы и польщики, основательно обустроившиеся и изолированные в своем бокаже, с подозрением относились к городскому миру и почти не поддерживали связей с ним. На юго-востоке крестьяне, владевшие мелкими парцеллами, нанимавшиеся поденщиками или занятые надомным текстильным ремеслом (*out-put system*), были тесно связаны с городским рынком, зависели от него и, таким образом, в культурном отношении оказывались в большей степени интегрированными в городской мир, ценности которого они разделяли, несмотря на то (или как раз потому) что находились в зависимости от него.

Они приняли участие в революции, так как им были близки идеи, которые она отстаивала, и в своей трудовой жизни они признавали авторитет буржуазных элит, получивших в ходе революции политическую власть. И им тем легче было участвовать в революции, что в ее дискурсе широко использовались близкие народным чаяниям мотивы равенства и справедливости. Став с развитием местной промышленности в XIX в. рабочими или мелкими собственниками, а подчас теми и другими одновременно, они подтвердили своими электоральными предпочтениями приверженность республике и недоверие к церкви, которые продемонстрировали во время революции. Их электоральное поведение в своей эволюции следовало магистральной линии развития голосования за левых, т.е. за "синих": за республиканцев при Мак-Магоне, за партии радикалов, а затем социалистов в начале XX в., за коммунистов начиная с 1936 г. Воспринятый ими в ряду революционных ценностей идеал социального продвижения и экономической независимости, достигаемый через обладание мелкой собственностью, заставил их довольно рано усвоить мальтузианский тип поведения. Письмо Ле-Манского епископа монсеньера Бувье папскому трибуналу от 1849 г. является первым по времени свидетельством прелата французской церкви о массовом распространении контрацепции в народной среде¹⁴.

Крестьяне бокажа, наоборот, воспринимали революцию как установление власти городских господ, которых они опасались еще до того, как со стороны последних проявилась тенденция скупать земли. Они переживали революцию как долгую череду разочарований и обид. Если в момент кризиса, вызванного гражданским устройством духовенства, они решили защищать своих непосвягнувших священников, то поступили так не в силу благочестивой верности церкви, а потому что не желали, чтобы городские буржуа, с которыми они отождествляли республиканскую власть, вмешивались в их при-

ходские дела. Антибуржуа, а потому антиреспубликанцы, они, получив в XIX в. право голоса, взяли в привычку голосовать за аристократов не из атактистической привязанности к сеньорам былых времен, но потому что эти кандидаты были явно антибуржуазными. Их выбор в годы революции был продиктован застарелой враждебностью городскому миру, и с тех пор верность сделанному выбору заставляла их безоговорочно присоединяться к тому лагерю, который олицетворял для них сопротивление городу, т.е. верность крестьянским ценностям, социальный консерватизм, религиозный и семейный конформизм.

Это историческое объяснение столь явных региональных контрастов внутри одного департамента не порывает полностью с моделью Лабрусса. Если мы примем во внимание лишь различия в социальном положении крестьян запада и юго-востока провинции Мэн, склонявшие их в пользу того или иного выбора в годы революции, то останемся в рамках мыслительной схемы, согласно которой люди действуют в зависимости от своей классовой принадлежности и экономических интересов, или, вернее, того, что они считают своими экономическими интересами. Для крестьян запада классовым врагом был не кто иной, как городской буржуа, скупавший земли, разорявший исполщиков и взимавший с них все большую долю произведенного продукта. Для крестьян юго-востока городской купец, обеспечивавший их сырьем, а зачастую и станками, являлся работодателем. Но он не брал с них причитающуюся ему долю. Он покупал их продукцию для перепродажи и таким образом включал их в рыночную экономику. Независимо от того, стремились ли они в перспективе получить минимальную самостоятельность, которую обеспечивает собственный клочок земли, и/или постоянный заработок, перейдя от надомничества к наемному труду на мануфактуре, буржуа не был для них ни препятствием, ни главным врагом. Он не являлся для них олицетворением абсолютно другого, но напротив, принадлежал к тому же экономическому миру, в котором им предстояло добиться максимального успеха, выгодно продавая свое мастерство и рабочую силу.

Но на этом сходство с моделью Лабрусса заканчивается. Тот или иной выбор, делавшийся крестьянами в годы революции, не был продиктован ни ясным осознанием их действительно различных интересов и классовых антагонизмов (как если бы речь шла о *homo economicus*, чье поведение зависит от рационально принимаемых решений), ни даже иллюзорным представлением о том, какие именно действия в наибольшей мере отвечают их интересам. Лабрусс пытался определить эти интересы, рассчитывая колебания цен по средним подвижным величинам, тогда как сами крестьяне вычисляли их методом сравнения, полагаясь на свою память. Их поведение определялось, в первую очередь, большей

или меньшей культурной дистанцией по отношению к городскому миру, т.е. ментальными структурами, сформировавшимися на основе тех социальных отношений, которые они поддерживали с городом. У жителей западного бокажа, привязанных к остающейся в стороне от рынка крестьянской экономике и живущих, помимо связей внутри сельской общины, в географической и культурной изоляции, активная скупка земель буржуазией соседних городов породила настоящую ненависть к городскому миру, обратившуюся на революционеров и представителей новой власти. Отсутствие подобной культурной дистанции у крестьян юго-востока делало их, напротив, более благорасположенными к политическим потрясениям и восприимчивыми к дискурсу новых элит, тем более что этот дискурс создавал видимость заботы о чаяниях мелкого люда. По мнению Поля Буа, для того чтобы понять, что заставляет людей становиться "действующими лицами" (*acteurs*) истории и определяет их выбор, надо изучать не их социально-экономические интересы или представления об этих интересах, а их видение мира.

Это перемещение центра тяжести исторического анализа с социально-экономических целей и их субъективации в сторону ментальности является, скорее, отклонением от направления исследований Эрнеста Лабрусса, нежели полным разрывом с ним. Здесь можно видеть возврат к духу "Анналов" тридцатых годов, если вспомнить, в частности, каким образом трактовалось отношение людей к финансовым вопросам в первых статьях, посвященных финансовому кризису или проблеме золота¹⁵. Но самый оригинальный и еретический аспект модели Поля Буа состоит в том, что у него ментальность, направляя политический выбор и запечатлевая в памяти систему оправдания этого выбора (сам Буа определял это как феномен *идеологической укорененности*), лежит в основе социально-экономической перестройки деревни в департаменте Сарта. Бело-синий дуализм, порожденный политическим противостоянием в годы революции, становится источником не только резких отличий в электоральной географии, но и двух противоположных аграрных структур и двух противоположных типов демографического и религиозного поведения. Можно было бы сказать, что Поль Буа отошел от разработанной Лабруссом модели анализа, столкнувшись с особенностями воздействия революции в департаменте Сарта. Но это было бы искажением его мысли. Само название книги ("Крестьяне Запада"), спор с Андре Зигфридом по поводу его "Политической картины Западной Франции" и экскурсии за пределы Сарты с целью проверить свою модель показывают, что в его намерения входило предложить такое объяснение взаимодействия между событием революции и региональными структурами, которое было бы приемлемо для большей части сельской Франции¹⁶.

**От локального к национальному.
Как крестьяне вовлекаются в политическую жизнь**

Трансформацию такого же типа в департаменте Вар в XIX в. описал Морис Агюлон; тема диссертации досталась ему в рамках проводившегося под руководством Лабрусса исследования социально-экономической истории Франции XIX-XX вв. на уровне департаментов. Самая оригинальная часть его работы относилась не к индустриализации и модернизации Тулона, а к трансформации деревни и была опубликована отдельно под названием "Республика в деревне"¹⁷: речь там шла о существенном преобразовании, которое вряд ли возможно отождествить с процессом роста или модернизации, если под этим понимать ускорение одновременно экономического и социального развития, позволяющее вступить в новый мир. Движущей силой этой трансформации были не структуры производства, которые в провансальской деревне мало изменились, и не социальные структуры, ею стало вторжение политики в крестьянскую жизнь вместе с появлением муниципальных институтов и системы выборов. В политической жизни крестьяне начали участвовать в годы революции, что приобрело размах после введения всеобщего избирательного права в 1848 г. и достигло полного расцвета в 1880-е годы, когда настал, говоря словами Мориса Агюлона, золотой век мэров.

Для крестьян это участие в политике было связано не с правом решать при помощи избирательного бюллетеня и не с возможностью быть избранными. Они, в основном, предпочитали передавать политические полномочия (и даже некоторые мандаты местного уровня) нотаблям не из крестьян. Участие в политической жизни для них было связано с "социабельностью", пропитанной страстями и конфликтами, которая складывалась во время избирательных кампаний вокруг кандидатов, или, скорее, вокруг представляемых ими противоположных идеологических течений. Публичные собрания, споры в кабачке, шествия, праздничные гулянья - все случаи, когда встречаются деревенские жители, были хороши, чтобы выразить поддержку своему кандидату состязаниями в красноречии, криками и гамом, зачастую переходящими в драки. Если избирательные кампании мобилизуют активность сельских жителей и доводят их политические страсти до кипения, то возникающие в ходе этих кампаний размолвки и товарищеские отношения, созданные и испорченные репутации остаются надолго, расцвечивая жизнь деревни новыми красками. Все это способствует поддержанию биполярной структуры отношений внутри деревни, отчасти напоминающей противостояние синих и белых в "Крестьянах Запада" П. Буа. Благодаря избирательным кампаниям в деревне возникала неформальная организация, по ряду черт напоминающая буржуазные политические кружки и предвосхищающая современные политические партии с их устой-

чивой организационной структурой и представительством на местах, сообразно той модели, которая будет введена радикальной партией при Третьей республике.

Было бы ошибкой видеть в этом вторжении политики в деревню всего лишь идеологизированную оболочку и новую форму ритуализации местных антагонизмов. Крестьяне поднимались не на защиту личных интересов и не против соседей, а во имя общих идей, касающихся нации, политических институтов и общества, подобно тому как прежде они поднимались во имя религиозных идей. Унаследованный от революции абстрактно-идеологический характер французского политического дискурса оказывал на крестьянскую ментальность аккультурирующее воздействие, подчас сходное с обучением грамоте и дополняющее его. Соединяя локальное с национальным, а национальное с универсальным, он расширял их горизонт. Но культурное влияние распространялось в двух направлениях. Переводя национальные политические цели и аргументы на язык символики и ритуала своей локальной культуры, крестьяне фольклоризировали политику, подобно тому как они начиная с XI в. фольклоризировали вероучение и церковные обряды.

Эту фольклоризацию следует понимать не как поглощение рожденной революцией политической культуры и парламентского строя мыслительными и экспрессивными формами, свойственными вышедшей из глубины веков народной культуре, а как усвоение политических категорий народной культурой, находящейся на подъеме. Поль Буа, как и Морис Агюлон, применив анализ хода развития к изучению деревни, напомнили нам то, на что недостаточно обращали внимание: XIX век - и, может быть, именно он - был во Франции и в значительной части континентальной Европы великим веком крестьянской культуры. Морис Агюлон одним из первых среди историков проявил интерес к данным фольклора с целью понять трансформацию крестьянского общества. Но он подходил к фольклору не как к остатку далекого прошлого - археоцивилизации, согласно формуле Андре Вараньяка, - и смотрел на него не ностальгическим взором фольклориста, пребывающего во власти мифов и выдумок Кельтской академии, а рассматривал его как живую и меняющуюся культуру. Ведь все то, что придает крестьянской жизни новый вид и восхищает путешественников: искусно отделанные костюмы, богато декорированная мебель, песни, танцы, праздники с их сложным ритуалом, уходит корнями не в сказочную старину, а в начавшееся в XVIII в. переосмысление и усвоение предметов и особенностей поведения, характерных для современной изысканной городской жизни, т.е. появляется в тот момент, когда благодаря достатку исчезает изолированность деревень, улучшается режим питания и постепенно отступает смертность.

Крестьянский мир привносил в этот симбиоз не столько якобы свойственную ему систему верований и символов, унаследованную,

по мнению фольклористов, от времен друидов, сколько свое особое понимание и способ установления социальных связей. Заимствовав из немецкой социологии понятие "социабильности" и обеспечив ему успех среди французских историков. Морис Агюлон обнаружил за сменяющими друг друга идеологическими противостояниями, политическими темами и лозунгами постоянство сложившихся как в крестьянской среде, так и в других слоях общества обычаев собираться вместе, с тем чтобы получать от этого удовольствие и устранять трения, способные нарушить межличностные отношения. В другой работе, посвященной метаморфозам социабильности в городской среде южной Франции¹⁸, он показал, как в провансальских городках во второй половине XVIII в. братства кающихся постепенно уступили место масонским ложам, а тем, в свою очередь, на смену во время революции пришли политические клубы. Братства кающихся занимались, в основном, организацией похоронных процессий и поминальных обрядов. Таким образом, религиозное радение об усопших сменилось философскими или, скорее, теософскими интересами и, наконец, пристрастием к политическим дебатам.

Не следует недооценивать изменение интересов, сопровождавшее эти трансформации общественной жизни. Морис Агюлон отмечает значение концептуальной эволюции и секуляризации ментальногоTM, которые помогают объяснить вытеснение братств масонскими ложами, а затем политическими клубами. Но, будучи в большей мере историком социальных практик, чем идей, он интересуется, каким образом эти идеи мобилизуют в свою поддержку коллективные эмоции и потребность действовать сообща. Ведь преемственность между братствами, масонскими ложами и политическими клубами или, если вернуться к крестьянской социабильности, между провансальскими общими спальнями и предвыборными комитетами обеспечивали сама форма объединения как таковая и потребность мужчин собираться вместе, чтобы спорить, время от времени устраивать пирушки и действовать; как будто объединяющие этих людей убеждения, преходящие и изменчивые, на взгляд отдаленного во времени историка-исследователя, но неизменные в глазах самих действующих лиц, разделяющих данные убеждения, были менее важными, чем сама возможность собраться вместе. Агюлон вовсе не отрицал значения причин, побудивших людей организоваться и действовать вместе, их социального положения и прочих элементов исторической конъюнктуры, но наряду с этим он принимал во внимание культурное измерение практики поведения.

Воссоздав культурное измерение политического поля, Морис Агюлон вернул ему автономию, тогда как у историков уже вошло в привычку рассматривать его как простое отражение социально-экономических интересов или же отзвук идей и выступлений политических деятелей. Конечно же, крестьяне редко выбирали представителей из своей среды и доверяли тем людям и программам, которые,

как им казалось, учитывали их интересы. Но только фикция, избретенная теоретиками конституционного права, позволяет думать, что бюллетени выражают основные идеи избирателей и что магия всеобщего избирательного права создает прозрачное соотношение между мотивацией избирателей, их ожиданиями и поведением избранных. Именно эта фикция, в первую очередь, и привела к тому, что специалисты по политической истории стали, как заметил Люсьен Февр, отождествлять то, что говорилось и решалось в зале заседаний Бурбонского дворца и в кабинетах Версаля или Матиньона, с идеями всех французов и их выбором.

Изучать политику в деревне, подобно Морису Агюлону, - это не значит выискивать все элементы национальных соглашений и разногласий в миниатюре или же погрязать в ничтожных провинциальных делах и конфликтах местного уровня. Это значит попытаться понять, каким образом крестьянское сообщество освоило свои новые права, вместе с которыми в его жизнь вошли календарь выборов и сами выборы, а также общенациональные идеологические и программные разногласия. В одиночестве опустить свой бюллетень в урну, предварительно ознакомившись с имеющимися программами и кандидатами, - подобное поведение не соответствовало представлению крестьянина о том, как ему следует осуществлять свое право и принимать решение по общественно значимым вопросам. Ему, напротив, полагалось участвовать в демонстративных коллективных акциях, в ходе которых утверждалась его принадлежность к местному обществу и мужскому миру.

Современность по-французски.

Крестьянские пути развития

Поль Буа и Морис Агюлон, изучая каждый свой департамент, выстроили две разные, но не опровергающие, а в какой-то мере дополняющие друг друга модели развития Франции XIX-XX вв., решительно отказавшись от манчестерской модели модернизации (промышленная революция, исход из деревни, сильная урбанизация, упадок деревень), в равной мере воспринятой и либералами, и марксистами. У обоих историков в конечном счете именно крестьянский мир оказывается в центре внимания и становится главной осью развития. Эту бифуркацию исторической мысли невозможно объяснить только региональными особенностями двух рассмотренных департаментов. Разумеется, оба они расположены в той части Франции, которую можно назвать периферийной, т.е. удаленной от парижского района, и отсталой; согласно схеме развития регионов Франции, предложенной бароном Дюпеном¹⁹ и Анжевилем²⁰, она находится к югу от линии Сен-Мало - Женева. Но их архаичность относительно. В каждом департаменте есть свой очаг индустриализации: в одном это район Ле-Мана, в другом Тулона.

Оба историка обратились к изучению сельского мира, потому что данный сектор не только не приходил в упадок и претерпевал значительную трансформацию, но и в каком-то смысле являлся сердцевинной тех преобразований при переходе от Старого порядка к новой Франции, которые в нашей историографии принято связывать с революцией. Выбор такой стратегии анализа заслуживает высокой оценки как в историографическом, так и в теоретическом плане. Он разрушает стереотипное представление о крестьянах, якобы оставшихся за бортом модернизации. Мы уже говорили о том, что XIX в. был во Франции великим веком крестьянской цивилизации, отмеченным расцветом фольклора, возросшим разнообразием форм жизни сельского общества, проявлениями местной и региональной самобытности. Эти живые культурные силы деревни опирались на мощную демографическую и социальную динамику, являвшуюся одной из характерных черт французской модели модернизации. Здесь медленно развивалась индустриализация, определяемая некоторыми авторами как непрерывный рост без *take-off*, потому что ее развитие, в свою очередь, подпитывалось за счет непрерывного исхода сельского населения, начавшегося уже в XVIII в., но никогда или, точнее, никогда вплоть до 1960-х годов - не достигавшего таких бурных темпов, как в Великобритании, скандинавских странах или Германии.

Медленный исход сельского населения объясняется отчасти социальными последствиями Французской революции, из которой выгоду извлекли, в первую очередь, крестьяне. Отмена сеньориальных прав и распродажа национальных имуществ облегчили крестьянам доступ к аренде, а эта форма землепользования в большей мере отвечала духу предпринимательства. Кроме того, крестьяне получили доступ к земельной собственности, точнее мелкой собственности, удерживавшей в деревне избыточное население. Благодаря улучшению условий жизни и режима питания, а также благодаря жизнеспособности сельского общества деревня в XIX в. не только не обезлюдела, но и пережила демографический подъем, достигший во многих регионах максимального уровня накануне Первой мировой войны. Как видно из длинных перечней имен, выбитых на каждом памятнике погибшим в самой крохотной деревушке, во время войны крестьяне заплатили страшный налог кровью, что обеспечило деревне демографическую разгрузку и отложило великий исход на более позднее время.

Крестьянский мир, который до тех пор, даже в войну 1870 г., проявлял упорное неприятие воинской повинности, на сей раз легко смирился с ужасными потерями. И это можно считать самым ярким проявлением произошедшей в деревне глубокой культурной трансформации, которая сопровождала социально-экономическое развитие и отчасти задавала ему тон. Превращение крестьянина в гражданина, т.е. вхождение его в сферу политического самоопределения,

было процессом большой длительности, начавшимся во время революции: институционно и символически его начало было связано с проведением выборов, а событийно - с кризисами, подобными гражданскому устройству духовенства, историю которого в департаменте Сарта изучал Поль Буа. Процесс завершается при Третьей республике благодаря демократизации политической жизни, сделавшей общенациональные задачи ближе крестьянам, и особенно благодаря республиканской школьной политике, приведшей к окончательной ликвидации неграмотности и распространению в деревне воинственного патриотизма. Эта духовная интеграция крестьян в национальную общность, сплошь и рядом предвосхищавшая, а подчас и заменявшая экономическую интеграцию, не просто изменила их отношения с остальным обществом. Она преобразовала их представления об обществе, их устремления и индивидуальные стратегии. Она сыграла модернизирующую, или (если анахронически употребить понятие, введенное Элиасом и неизвестное во Франции в то время, когда Поль Буа и Морис Агюлон писали свои диссертации) цивилизаторскую роль. Поэтому отход двух историков от схемы Лабрусса содержал в себе также теоретический смысл. Перенеся акцент на ведущую роль ментальности и политического выбора, находящихся свое продолжение в накладываются на коллективное поведение идеологических структурах или в придании формам социальности того или иного содержания, оба историка отошли от свойственного Лабрусу псевдодетерминизма, подчинявшего субъективные решения и реакции социальных "актеров" объективным колебаниям цен и доходов.

Были ли французы пионерами в деле регулирования рождаемости? Многомерное объяснение

Теперь мне хотелось бы перейти к другой обсуждавшейся французскими историками проблеме, так как в этом случае вновь встал вопрос об одной из особенностей исторического развития французского общества. Об особенности, состоявшей в том, что во Франции демографический переход совершился рано и не был связан с индустриализацией. И вновь, как мне кажется, недостатком многих выдвинутых гипотез была неспособность осмыслить различные уровни трансформации, взятые вместе. Можно ли безоговорочно принять понятие демографического перехода как необратимого перехода от нерегулируемой (называемой почему-то естественной) к регулируемой рождаемости? Во Франции, по всей видимости, он совершился раньше, чем в остальной Европе. Настолько рано, что уже со второй половины XIX в. правящие круги и ученые забеспокоились по поводу вызванного мальтузианством упадка рождаемости, в то

.- „Р.» і чл крупных европейских государствах, напротив, наблюдался беспрецедентный прирост населения.

На основе сочинений мастеров политической арифметики века Просвещения, намекавших, подобно Моо, на распространение практики контрацепции, историки относили данную перемену в поведении к концу XVIII в. Первые количественные исследования по методу Луи Анри. казалось бы, подтверждали этот вывод. Они показывали, что в период революции в деревнях Лангедока и Перша значительное число супружеских пар стали прибегать к ограничению рождаемости²¹. Поэтому отмеченная перемена стала интерпретироваться как феномен секуляризации ментальное™. По мнению доктора Жана Сютера²², именно массовый набор в армию и мобилизация призывников в годы революции и Империи создавали условия для того, чтобы молодые люди из разных регионов и социальных слоев, собираясь вместе, освобождались от моральных запретов и обменивались "пагубными секретами". Филипп Арьес полагал²¹, что только культурный и дехристианизаторский шок, подобный революции, мог вырвать из сознания запрет, так глубоко интериоризованный со времени утверждения христианства (наряду с запретом на инцест), что он оказался вытесненным в бессознательное и забытым. Приемы контрацепции, широко известные в языческие времена и описанные античными врачами, были запрещены церковью и продолжали применяться только среди проституток. Но как только запрет был единожды нарушен, распространение нового типа поведения стало необратимым.

В результате бурного развития исследований в области исторической демографии, основанных на использовании статистических методов Луи Анри и нацеленных на изучение плодovitости супружеских пар, возникновение во Франции "мальтузианского типа" поведения было отодвинуто по времени далеко назад. В деревнях и маленьких городках Парижского бассейна оно появляется уже с середины XVIII в.²⁴ Пионерами в этом деле выступают элиты, в частности, герцоги и пэры Франции и женевский патрициат²⁵, которые практикуют ограничение рождаемости с конца XVII в. Но уже первые монографии, в которых те же количественные методы использовались для изучения больших городов, а именно Руана и Женева²⁶ (т.е. применялись к корпусу данных, гораздо тяжелее поддающемуся обследованию), показали, что среднему классу лавочников и ремесленников контрацепция также была известна с конца XVII в.

Как можно связывать распространившееся регулирование рождаемости с секуляризацией сознания и даже с дехристианизацией, если выяснилось, что поведение людей стало меняться с конца XVII в., т.е. в эпоху, наоборот, отмеченную подъемом истовой религиозности во всех слоях общества под влиянием католической реформы? Между тем историки в своих попытках интерпретации по-прежнему были целиком сосредоточены на вопросе о подчинении или неподчинении церковным запретам. Жан Луи Фландрен,

опираясь на исследования Джона Нуна по истории отношении теологов к контрацепции²⁷, выдвинул гипотезу двойного стандарта в поведении населения: тогда как супругами запрет соблюдал при внебрачных связях использовалась контрацепция. Таким образом, выходило, что подмеченное демографами изменение свательствовало лишь о постепенном приближении супружеских сношений к стандарту, уже установившемуся для внебрачных лбовных связей. С точки зрения американского историка, церковь довольно поздно (главным образом начиная с католической формы) ощутила потребность сформулировать особые положения, осуждающие практику контрацепции. Иезуиты с присущей им склонностью к казуистике (в первую очередь, богослов Санче проявили стремление точно измерить степень вины каждого партнера для каждой формы греха и дошли до утверждения, что и пользование контрацептивных средств, в той мере, в какой оно окверняет святость брака, является более тяжким грехом в отношениях между супругами, чем при внебрачных связях.

Преодолеть эту шаткую гипотезу, основанную лишь на изолированном разграничении степеней греха в трудах одного богослова, установить настоящую роль религиозных запретов можно с помощью идей Норберта Элиаса²⁸. Речь идет не о непосредственно юридическом влиянии этих запретов, заставляющем делать выбор между подчинением и нарушением, а о культурном или, скорее, цивилизаторском влиянии, при котором осуждение контрацепции вписывается в развернутую церковными властями начиная с XVI в. борьбу за контроль над сексуальной и супружеской жизнью, борьбу, в результате которой контроль над христианским народом постепенно превратился в самоконтроль. Влияние религиозных запретов на демографическое поведение можно сравнить с тем влиянием, которое протестантская теология, по мнению Макса Вебера, оказала на развитие капитализма. Дух капитализма поощряло вовсе не протестантское учение об отношении к деньгам. Ведь протестанты осуждали ссуду денег под проценты так же и даже еще более сурово, чем католики. Его поощряло их учение о благодати. Утверждая, что человек может спастись только верой, т.е. полагаясь на милость Божью, а не на свои дела, протестантская теология тем самым отрицала, что определенный социальный статус, например, принадлежность к монашеству, может сам по себе помочь попасть на небеса.

Надо следовать своему призванию, т.е. признать, что избранный нами род деятельности угоден Богу. Если это призвание выполняется по-христиански, то сам факт преуспевания на данном поприще можно интерпретировать как знак избранности. Богатство - это не проклятие, если сопровождается умеренным образом жизни, бережливостью и благотворительностью. Эта этика трудолюбия и бережливости, реабилитировавшая прибыль, создавала исключительно благоприятные психологические условия для расцвета капитализма

Точно таким же образом начиная с XVI в. усиление религиозного (протестантского и католического) контроля над сексуальной и семейной жизнью, составной частью которого стало недвусмысленное осуждение контрацепции, способствуя интериоризации норм, создавая вокруг супругов интимное пространство и повышая их ответственность, парадоксальным образом создавало психологические условия, благоприятные для распространения контроля и ограничения рождаемости. Чтобы понять этот процесс, нужно сначала восстановить его подлинную хронологию. В многочисленных работах по исторической демографии Франции Старого порядка прослеживается тенденция характеризовать как исконную и естественную ту конформистскую модель с присущими ей отсутствием регулирования рождаемости и крайне низким процентом внебрачных беременностей и деторождении, которая доминировала в XVII в. и разложилась в течение XVIII в. с началом демографического перехода. Однако эта модель казалась традиционной лишь потому, что существовала в середине XVII в., а именно начиная с этого времени приходские книги были приведены в порядок и их стало возможно изучать методами серийного анализа. В действительности же есть серьезные основания считать, что эта модель явилась довольно поздним результатом религиозного нормирования. Хотя статистический анализ такого типа и неприменим для более ранних периодов, имеется, однако, достаточно свидетельств и количественных показателей, говорящих о том, что в XV-XVI вв. число внебрачных деторождений было более высоким (а отношение к внебрачным детям более терпимым). Вопреки тезису Филиппа Арьеса о немислимости контрацепции эта практика вовсе не была забыта, если верить предостережениям против нее со стороны некоторых служителей церкви, и могла распространяться в кризисные периоды. Вышеупомянутая конформистская и исключительно жесткая модель просуществовала примерно столетие. Но последовавшее затем ее ослабление не было простым возвратом к прежней терпимости. Оно отражало цивилизаторское влияние самоконтроля, результатом которого стало развитие моральной и эмоциональной автономии индивида.

Норберт Элиас, возможно, недооценивал роль в процессе цивилизации* других факторов принуждения, помимо структуры по-

Здесь и далее автор употребляет термин -цивилизация" в том же смысле, что и Н. Элиас в работе "О процессе цивилизации" (во французском переводе ее первый том вышел под названием "Цивилизация нравов", второй - "Динамика Запада"). Цивилизация в данном случае - это процесс изменения человеческого поведения в сторону большей "цивилизованности" (Примечание переводника).

литической власти. Религиозные течения и институты, равно как и биологическое окружение, играли свою роль в этом сложном процессе, не сводящемся только к социогенезу государства, что хорошо прослеживается, когда читаешь "'Цивилизацию нравов" Элиаса, не обращаясь к его "Динамике Запада". Нельзя, например, недооценивать роль эпидемий и страха заразиться в изменении поведения за столом и развитии чувства стыдливости. Пользование вилок, распространившееся на Западе с конца XIV в., было, вероятно, связано с опасением заразиться и мерами изоляции в условиях свирепствовавшей с 1348 г. черной смерти. Закрывание бань и борделей, репрессивные меры против внебрачных сексуальных связей, распространившиеся в начале XVI в. и способствовавшие усилению чувства стыдливости, не могут быть полностью объяснены "религией страха", описанной Жаном Делюмо²⁹. Свою роль сыграли первые случаи сифилиса и вызванный ими ужас, проникающий в самую сердцевину сексуальности (греховность которой стали усердно обличать проповедники). Речь идет не о том, чтобы вставать на позиции какого бы то ни было природного детерминизма. Для Элиаса, изучавшего медицину и изменявшего к исследованию социальной реальности модели, заимствованные не столько из физической, сколько из биологической науки, биологический мир являлся частью общества. Взаимодействуя с миром представлений, он участвует в формировании социальных конфигураций. Элиас легко согласился бы с тем, что имевшее место в XVI-XVII вв. религиозное нормирование выросло на почве, удобренной страхами перед эпидемиями.

Большее внимание к формам, которые принимало религиозное нормирование, позволило бы ему самому лучше осознать антропологическое значение своих собственных интуитивных прозрений, высказанных им (за четверть века до Филиппа Арьеса) на страницах, посвященных стремлению не говорить о сексуальном при детях как форме воспитания чувства стыдливости³⁰. У этой стратегии умолчания, помимо ее общего значения, есть и французский аспект, который может навести нас на верный путь объяснения французской исключительности. Особенностью Франции было последовательное чередование трех религиозных реформационных течений, более или менее противостоящих друг другу в толковании сексуальности и супружеской жизни: протестантская реформация вменяла в долг умолчание о сексуальном и сдержанность в контроле за супружеской жизнью, полагаясь в этом вопросе на совесть самих супругов³¹; казуистическое течение в русле католической реформы, наоборот, предписывало жесткий и придирчивый контроль над сексуальной жизнью супругов, осуществляемый посредством исповеди; приверженцам ригористического (в том числе яansenистского) течения сексуальность внушала омерзение, и они предпочитали о ней молчать, опасаясь извращенной игры воображения³². Эти противо-

речивые предписания произвели кумулятивный эффект. В конечном счете вокруг супружеских отношений возникла атмосфера секретности, интимности и ответственности, помогающая нам понять, как конкретно в процессе цивилизации совершился переход от принуждения к самоконтролю.

Цивилизация* супружеской жизни

Все это заставляет нас подвергнуть критике куриалогический подход тех интерпретаций, которые историки позаимствовали у Норберта Элпаса, в чрезмерной поспешности смешав идеи, высказанные им в "Цивилизации нравов" и в "Придворном обществе". Система всеобщей конкуренции, складывающаяся при дворе вокруг государя, помогает объяснить происхождение новой психологии индивида, которой свойственны большие расчетливость и самоконтроль, но не новый характер взаимоотношений полов, сформировавшийся в прециозных салонах, т.е. вне королевского двора и отчасти вопреки ему. В этой связи сошлюсь на исследования Дугласа Гордона о формировании в салонах интеллектуальной социальности, основанной на равноправных отношениях и на рождающейся из искусства беседы свободе дискуссий³³. Эта социальность противостояла придворному этикету и иерархическому идеалу двора. Именно поэтому о прециозных салонах, в которых выдумали утопическую республику литераторов и симпатизировали Фронде, некоторые современники отзывались неодобрительно, говоря, что там поощряют "смещение рангов".

Однако царивший в этих салонах протестный феминизм прециозниц (направленный, в частности, против брака) дополнял принцип равенства в интеллектуальном общении идеалом равенства во взаимоотношениях полов³⁴. Этот идеал, противостоящий буржуазной модели семьи, в которой господствует мужчина, и направленный на цивилизацию отношений между мужчинами и женщинами, предписывал утонченный языковой и поведенческий код, исключавший непристойность и агрессивность. Почтение, которым окружалась женщина, заставляло вспомнить о правилах куртуазной "цивилизованности" (*civilité*) средневекового рыцарства. Этот изначально антиматримониальный идеал в конечном счете распространился на супружеские отношения и цивилизовал их благодаря тому, что нашел воплощение в правилах придворной "цивилизованности". Прециозные салоны, являвшиеся очагами интеллектуального, а изначально даже и политического протеста, сыграли, таким образом, роль лабораторий придворной культуры. Если говорить о цивилизации взаимоотношений полов, т.е. о той важнейшей составляющей процесса цивилизации, которая непосредственно связана с интериоризацией чувства стыдливости и овладением эмоциями, то двор сам по себе не

столько изобретал ее. сколько распространял вширь. Его центральное положение в обществе, где вся провинция смотрит на Париж, а все амбиции устремлены к королю, позволило придворному коду "цивилизованности" с помощью различных промежуточных инстанций охватить весь общественный организм. В городской среде он довольно быстро распространился через *малые школы*, в которых трактаты о правилах "цивилизованности" превратились в адресованные детям руководства или учебники благопристойного христианского поведения. В крестьянский мир он проник несколько позднее вместе с песенниками, которые можно было купить у бродячих торговцев; эти песенники принесли в XVIII в. на крестьянские посиделки галантный язык и способы выражения чувств из "Гирлянды Юлии"³⁵.

Итак, замечание Дугласа Гордона было бы справедливым, если бы Норберт Элиас действительно не учел этого аспекта. Но это не так. Он посвятил незабываемое место в "Цивилизации нравов" цивилизаторской роли женщин в прециозных салонах, подчеркнув, что они стремились утвердить дух равенства в отношениях между мужчинами и женщинами³⁶. А эта атмосфера не формального, но аффективного равенства собеседников в сочетании с галантной обходительностью, охватив сферу супружеской жизни и цивилизовав потаенное и интимное пространство, в котором оказались отношения между супругами в результате религиозных реформ, главным образом и обусловила обращение к регулированию рождаемости. Это ясно говорят самые сведущие современники и подтверждают исследования последних лет. Основываясь на личном опыте исповедника, о. Фелин в своем "Катехизисе женатых людей" (1782). сетуя на распространение контрацепции, приписывает его "чрезмерному потворству мужей своим женам... излишней чуткости к их жалобам. Они шадят их непомерную чувствительность". И добавляет, что мужья "никак не могут согласиться с тем, что исповедник имеет право выносить на обсуждение такого рода вещи".

То же подтверждал полвека спустя упомянутый выше епископ Ле-Манский монсеньер Бувье. Он первым из прелатов констатировал массовый характер данного феномена и выразил беспокойство по этому поводу. В 1849 г. в письме папскому трибуналу в Рим он писал, что супруги, которых спрашивали об этом на исповеди, "ворчали на священников и переставали исповедоваться и причащаться"³⁷. В противоположность нашим историкам, упорно желающим видеть в распространении контрацепции результат дехристианизации или, по крайней мере, секуляризации сознания, он считает, что, наоборот, усвоение "мальтузианства" влекло за собой дехристианизацию. Современные исследования, в которых сопоставлялась роль различных проблем, встававших перед отдельными странами так называемого третьего мира при усилиях внедрить внутрисемейное планирование рождаемости, показали, что рели-

* См. примечания на стр. 212.

гиозные запреты не играли при этом никакой роли: так, в христианском Пуэрто-Рико использование контрацептивов распространилось очень быстро, тогда как в Индии оно встретило множество препятствий, хотя индуистская культура и не содержит никаких противодействующих ему религиозных предписаний³⁸. С точки зрения наших социологов, решающую роль играют структура и психологический климат семьи. В пуэрториканской матрицентрической семье женщина, обеспечивающая стабильность домохозяйства, все решает сама. В Индии, напротив, большая разница в возрасте между супругами и авторитарная структура семейной ячейки препятствуют возникновению между супругами доверительной атмосферы и свободного обмена мнениями, без чего невозможен переход к внутрисемейному планированию рождаемости.

Тем не менее предлагаемый мной многомерный подход к процессу цивилизации не отрицает за государственными структурами той роли в *психогенезе* индивида, которую им отводил Норберт Элиас. Арсен Дюмон, давший в конце XIX в. в своей концепции вообще и в отдельных монографических работах, в частности³⁹, наиболее тонкий анализ французского "мальтузианства", рассматривал этот феномен не как проявление упадка, аморальности или эгоизма, а как показатель цивилизованности, в отличие от большинства современных ему популяционистов, унаследовавших морализаторство знатоков политической арифметики XVIII в. Смысл, который он вкладывал в понятие "цивилизация", во многом превосходил его трактовку в трудах Элиаса. Речь шла о повышении уровня образования и нравственности, способствовавшем развитию самодисциплины, духа бережливости и предприимчивости. Он отмечал, например, что мелкие крестьяне-собственники с о. Ре, широко практиковавшие ограничение рождаемости, были дисциплинированными гражданами, регулярно читали газеты и посещали муниципальную библиотеку. Итак, с его точки зрения, подъем цивилизации, предполагавший способность сделать усилие над собой и установить иерархию своих жизненных целей, стал результатом мощной устремленности к социальному продвижению, охватившей все французское общество в целом, но неравномерно проявлявшейся в различных регионах и социальных слоях. Эта устремленность к продвижению, которую он истолковал как принцип *социальной капиллярности*, обрела во Франции особую силу и заметным образом отразилась на рождаемости в силу традиции государственной централизации, унаследованной республикой от монархии Старого порядка. Характерным примером такого наследия была для него, в частности, конкурсная система замещения должностей. При этом всеобщем выравнивании амбиций вся провинция стремится попасть в Париж, а все слои общества - подняться вверх. Унификация моделей мобильности придавала стратегиям социального возвышения крайнюю напряженность, требующую больших жертв и усиления самоконтроля.

Эти размышления посвящены памяти Юрия Бессмертного, с которым мне бы очень хотелось их обсудить. Разумеется, восторженный и вместе с тем крайне сталинистский марксизм, распространенный в послевоенной Франции и соблазнивший целое поколение молодых историков, которые или пережили опыт Сопротивления, или вынуждены были искать себе оправдания из-за того, что в нем не участвовали, имел мало общего с официальным марксизмом, воздействовавшим в то же время на историческое образование в Советском Союзе. Ускользая на своем интеллектуальном пути из сетей догматического марксизма, нетерпимого к любой новации и независимой мысли, и проникаясь духом "Анналов". Юрий Бессмертный выходил за рамки официальной детерминистской модели.

Конечно же, благородный и открытый ум Эрнеста Лабрусса не имел ничего общего с тоскливой серостью царившего в то время в Советском Союзе официального марксизма. Но давление со стороны этой обязательной для всех доктрины на любое движение мысли советских историков, возможно, производило тот же эффект интеллектуальной аскезы, что и контраст между тяжелым трудом на ниве серийной истории по методике Эрнеста Лабрусса и незначительностью результатов, которые позволяла дать предложенная Лабруссом экспликативная модель; обнаружившаяся ограниченность доктрины побуждала к ее преодолению. Разумеется, в советском контексте это преодоление было сопряжено с гораздо большим риском отнюдь не только интеллектуального свойства. Путь, пройденный Юрием Бессмертным и другими историками, вынужденными жить и писать свои труды в тени тоталитарного государства, таким образом, напоминает нам о том, что ремесло историка, как называл его Марк Блок, - занятие рискованное, подчас трагическое и героическое. Или, точнее, оно обретает подлинный смысл и способствует развитию человеческого духа лишь у того, кто способен пойти на риск.

¹ *Vivre l'Histoire, propos d'initiation*-лекция, прочитанная осенью 1941 г. в Эколь Нормаль на улице Ульм; опубл. в: *Combats pour l'Histoire*. P., 1992 (Русский перевод: *Февр Л.* Как жить историей // *Февр Л.* Бои за историю. М., 1991. С. 24-38).

² Его основные работы: *Simiand F.* Le salaire des ouvriers des mines de charbon en France. P., 1907; *Idem.* Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement général des prix. P., 1932; *Idem.* Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie. P., 1932; *Idem.* Les fluctuations économiques à longue période et la crise de l'économie mondiale. P., 1932.

³ Когда много лет спустя Эрнеста Лабрусса спросили о том, чье влияние он испытал на себе, он ответил: "Чье влияние? Симиана, Дюркгейма или Маркса? Я Вам скажу: прибавьте Афтальона. он на редкость позитивен и концептуален. Дюркгейма вычеркните" (Entretien avec Ernest Labrousse par Christophe Charles // *Actes de la recherche en Sciences sociales*. 1980. N 32-33).

⁴ *Febvre L.* Pour les historiens un livre de chevet: le cours d'économie politique de Simiand // *Annales d'Histoire économique et sociale*. 1930.